

Юрий Бондарев

РОДСТВЕННИКИ

1

Он открыл глаза, увидел чужую комнату, до горячей духоты нагретую солнцем, и почувствовал, как потное лицо овеивало слабым дуновением воздуха. В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра. Прямо над головой на самом солнцепеке, за подоконником, постукивали когтями по карнизу сизые голуби и в поисках тени заглядывали в комнату. Потом он услышал, как где-то в глубине двора с напором зашелестели струи воды о листву, невнятные послышались голоса, заработал на холостых оборотах мотор поливальной машины.

«Что это, где я? — подумал Никита, вытирая испарину на груди. — Я не дома? Мама умерла — и я здесь?..»

Во время сна ему припекло голову, звенело в ушах, и была неприятная расслабленность в замлевших мускулах: он спал всю ночь в неудобном положении, лицом вниз, сжав руки на груди. Весь мокрый от пота, Никита с отвращением сбросил прилипшую к телу простыню, опустил ноги с дивана и огляделся.

В комнате этой, видимо, не жили давно: старые обои дожелта выгорели, было не прибрано, тесно от потертых кожаных кресел, от просиженных стульев меж расставленных по стенам тумбочек, от неуютных, загромоздивших углы книжных шкафов; пахло от дивана теплой и горьковатой пылью.

А незнакомая квартира за дверями, казалось, была выжжена горячим солнцем: было уже полное утро, но никто не стучал, не входил к нему. И все-таки там, за дверью, кто-то затаенно и тихо сейчас передвигался в коридоре, шепотом разговаривал по телефону, и Никита догадывался, что шептались, говорили о нем, о смерти матери, и растерянно взглянул на себя в зеркало над диваном.

В пыльной желтой его глубине замерло бледное, заспанное лицо с красной на щеке полосой от подушки, серые глаза всматривались вопросительно. Никита провел по щекам пальцами и отдернул руку.

Он представил, что такое же выражение, наверно, было на его лице и вчера, когда после приезда из Ленинграда он сидел за столом в окружении незнакомых, сочувствующих ему людей, когда, на чей-то вопрос глухо ответил, что мать в больнице ничего не просила, даже не жаловалась на боли, хотя умирала в сознании.

И по тому, как они подолгу, с горьким участием смотрели в его сторону, он подумал, что все эти люди, скованно ужинавшие вчера в длинной, старомодной столовой, были или его родственники, или знакомые его матери

— он всех их видел впервые. В середине ужина хозяин дома профессор Георгий Лаврентьевич Греков отрывисто и нервно покашлял в ладонь, проговорил, ни к кому не обращаясь: «Да, она была мужественной женщиной», — и сейчас же излишне решительной походкой, свойственной часто людям маленького роста, вышел из столовой.

После его ухода никто за столом не проронил ни слова, все, по-прежнему склонясь над тарелками, с каким-то опасливым пониманием постукивали вилками, и Никита вопросительно покосился на Ольгу Сергеевну, жену Георгия Лаврентьевича. Весь ужин она сидела в скорбном молчании, беспокойными пальцами комкая салфетку; в пунцовых мочках ее ушей, покачиваясь, сверкали серьги, молодили ее когда-то красивое, теперь уже полнеющее лицо. Поймав его взгляд, она с ласковой сдержанностью тронула его руку, сказала вполголоса:

— Вы, кажется, устали, Никита? Вы, очевидно, плохо спали в вагоне. Если не возражаете, я покажу вам комнату.

Тогда он поднялся, проговорил, ни на кого не глядя: «До свидания», — и последовал за ней, ощущая взгляды на своей спине. И как только закрыл дверь комнаты, непроницаемое безмолвие затопило квартиру: чудилось, гости разошлись из столовой на цыпочках, и не слышно было, как прощались они.

«Что они говорят обо мне? — вспомнив свой приезд, хмурясь, подумал Никита и прислушался. — Почему они не входят, не стучат, а стоят в коридоре? И кто жил в этой комнате? Чьи это боксерские перчатки? Что я должен делать теперь?»

Он встал с дивана, долго смотрел на тренировочную грушу, висевшую в углу, на затянутые слоем пыли боксерские перчатки (они валялись на стуле). Перчатки ссохлись, покоробились — лежали здесь давно. Он тихонько сдул с них пыль, натянул корявую, до скрипа прокаленную солнцем перчатку на правую руку и, не зная зачем, слабо ударил по груше. Она с тупым звуком метнулась на подвеске, закачалась. Никита ударил еще раз и, стиснув зубы, стоял, ожидая.

Было тихо, в окно веяло запахом накалившихся крыш.

В дверь внезапно постучали. Никита стряхнул, отбросил в угол перчатку, стал, торопясь, натягивать ковбойку.

— Простите... Доброе утро, Никита. Можно к вам? — И осторожно вошла Ольга Сергеевна, послышался свистящий шорох ее платья. — Простите, ради бога, Никита, я вас не разбудила?..

Не подымая головы, он все торопливо искал пуговицы на ковбойке. И, не отвечая ей, видел совсем рядом ее освещенные солнцем полные колени, выступавшие под коротким белым платьем, ее сильные, с высоким подъемом ноги, золотистые волоски на них, будто выветленные солнечными лучами.

— Какое же это несчастье, какое несчастье!.. — негромко заговорила Ольга Сергеевна. — Поверьте, я понимаю ваше состояние. Потерять мать... Господи, как я это все понимаю! Я сама это пережила три года назад.

Ольга Сергеевна так близко стояла перед ним, что он явственно вдыхал терпковато-теплый запах ее платья. Она вдруг неуверенно и робко погладила его по голове, от ее руки повеяло свежим запахом земляничного мыла, и он мгновенно ощутил свои жесткие волосы, еще не причесанные, и, дернув головой, сказал шепотом:

— Спасибо, Ольга Сергеевна, не надо...

— Я понимаю, Никита. Я все понимаю.

Она, умытая после сна, всматривалась в него, глаза были размягчены состраданием, жалостью; белое летнее платье — такие никогда не носила мать — стягивало ее торчащую грудь, чистые каштановые волосы убраны в пучок на затылке, в алых мочках прижатых ушей поблескивали серьги.

— Бедный, бедный, — сочувственно отыскивая глазами его взгляд, проговорила Ольга Сергеевна, и ее пальцы щекотно прикоснулись к его груди, помогая ему застегнуть пуговицу. — Вы все время думаете о ней? Я тоже никогда не забуду ту страшную потерю.

Никита угрюмо глядел в пол, на разохшийся, старый паркет, отчетливо видел завязший в пыли голубиный пух, грязные пятна раздавленного пепла, точно несколько лет никто не входил в эту заброшенную комнату. Еле слышно спросил:

— Он... тоже умер? Боксерские перчатки... Это его?

Она отошла на шаг, подняла полные оголенные руки к измененному испугом лицу.

— Нет, нет! Это комната сына... Он только не живет у нас! У него семья... Вы меня не так поняли! Три года назад, Никита, я тоже пережила смерть матери. Господи боже мой, какая нелепость! — вскрикнула Ольга Сергеевна и опустилась в кресло, прикрыла рукой лоб. — Как мы все стали суеверны! Какая нелепость!

— Простите, я не знал, — пробормотал Никита. — Я подумал только, когда вы сказали...

Вздохнув, Ольга Сергеевна отняла пальцы ото лба и через силу закивала ему.

— Я понимаю вас. Как все это невыносимо!

Он молчал.

— Да, да... Я хотела вам сказать, Георгий Лаврентьевич придет из института в первом часу, — проговорила Ольга Сергеевна утомленно. — Он хочет сегодня встретиться с вами. Обязательно.

— Спасибо, Ольга Сергеевна.

— Через полчаса я вас жду к завтраку, Никита.

— Спасибо. Я не хочу.

— Но так нельзя. Вы должны есть. Вы же ослабнете, Никита. Я вас жду к завтраку!

Она вышла. Тихая жаркая пустота была в комнате. Ни звука, ни шороха не доносилось из квартиры.

Он лег на диван. И тут вся стена перед ним, с унылыми вензелями обоев, теплая, прямая, покрытая пушком пыли, слилась во что-то однообразно-серое, душное, бессмысленное, и он испугался, что в эту минуту может заплакать.

— Очень хочу с вами поговорить, оч-чень!.. Вчера, к сожалению, не смог. Да и вы были только с поезда. Да, теперь мы сможем!

Георгий Лаврентьевич Греков ходил по кабинету нервной, танцующей какой-то походкой, странной при его широких плечах, крупной голове и маленьком росте; подпоясанный халат был длинен, извиваясь, мотался над голыми щиколотками. И было странно видеть среди этого просторного, залитого солнцем кабинета с высокими старинными книжными шкафами по четырем стенам его подрагивающие, обнаженные ноги в домашних шлепанцах. Они быстро двигались, мелькали по ковру.

— Оч-чень хочу! — повторил Георгий Лаврентьевич. — Да, я хочу с вами поговорить! Садитесь в кресло удобнее. Значит, я ваш родной дядя, а вы мой племянник. Вот при каких горьких обстоятельствах мы с вами встретились, дорогой вы мой!

Никита сел в кресло, как бы еще сомневаясь, что этот маленький, широкоплечий, тщательно выбритый, закутанный в халат старик может быть его родственником, его дядей, известным профессором истории, живущим здесь, в Москве.

Но, успокаивая себя, он вспомнил адрес на привезенном им письме, слова на конверте «профессору Грекову», написанные и подчеркнутые рукою матери. И, невольно улавливая вчерашнюю настороженность в тоне Грекова и вместе с тем испытывая стыд и отвращение к самому себе после неуклюжего разговора с Ольгой Сергеевной, подумал: «Нет, они не знали, что умерла мать».

— Значит, вы приехали? — снова повторил Греков и остановился перед книжным шкафом, приподнялся на цыпочки, забросил руки за спину, хрустнул пальцами.

— Как вы спали? Удобно вам было? Вы впервые в Москве?

— Спасибо, — сказал Никита, переводя взгляд с домашних, непонятно почему приковывавших внимание профессорских шлепанцев на шевелящиеся в широких рукавах пальцы за спиной, на его седой до нежной серебристости затылок.

Греков стоял, выпрямив круглую спину, лицом к книжному шкафу, и показалось Никите, что профессор, в стекло, как в зеркало, наблюдал за ним, похрустывая пальцами.

— Так. Значит, это письмо? Письмо...

— Да, — сказал Никита.

— Да, да, да... Но это могло быть ошибкой, невероятной, страшной ошибкой! — зазвеневшим голосом заговорил Георгий Лаврентьевич, подойдя к двери, задернул портьеру. — Все это может быть ужасной ошибкой!..

— Вы о чем? — не понял Никита.

— Нет, никому не сообщить о болезни... Умереть в одиночестве! Надо быть немислимо сильным человеком! И вы один, конечно, были с ней? И она никого из родственников не хотела видеть в больнице?

Георгий Лаврентьевич все шагал по кабинету, по толстому ковру, мимо дубовых книжных шкафов, кожаных кресел; волнами колыхался его длинный халат перед глазами Никиты.

— Не хотела...

Сказав это, Греков со страдальческой гримасой сел к письменному столу в глубине кабинета, беспокойно повозившись в кресле, с болезненной осторожностью вытянул из-под книг какую-то бумагу и пристально стал смотреть на нее. Он не читал, а только, казалось, смотрел в одну точку.

«Это письмо матери», — подумал Никита.

— Она... страдала? — сквозь полукашель проговорил Греков, и пальцы его дрогнули на письме. — То есть как она умирала? Тяжело? Она страдала? Нет, я не хотел у вас этого спрашивать. Но я старик, я на пять лет старше своей сестры. В моем возрасте уже ничему не удивляешься. В некрологах каждый день читаешь знакомые фамилии. Наше поколение уходит... Роковой круг каждодневно суживается. Эти модные беспощадные болезни — инсульт, инфаркт, рак — это ужасно! Но это реальность... И всем, почти всем нам суждено умереть от этих страшных болезней двадцатого века...

Он, зажмурясь, покачал головой.

На столе зазвонил телефон. Греков открыл глаза, повторил: «Да, от этих болезней» — и, как бы отталкивая что-то, махнул рукой в широком рукаве халата, с трудом преодолевая себя, потянулся к аппарату.

— Да, милый мой, — слабым голосом заговорил он. — Да, да. Через два часа. Начинайте без меня. Ах, здоровье? У людей моего возраста да еще накануне юбилея уже нетактично спрашивать о здоровье. — Он вяло улыбнулся Никите. — Спрашивают, как анализ, как электрокардиограмма. Да. Спасибо, мой друг, спасибо.

Он положил трубку задумчиво-мягким движением. Лицо его сразу стало розовым, прозрачно-голубые глаза забегали по столу и опять остановились, замерли на листе бумаги.

Никита молчал.

— Самое естественное и самое непоправимое — это физическая смерть, — заговорил Греков печально. — Мелькнула в мироздании, вспыхнула материя и погасла, растворилась во вселенной. Как будто ее и не было. Каждый доходит до своей вехи, и время беспощадно сталкивает его в небытие. Навсегда. И так со всеми. Закрыты все двери. И закрыты все счета с жизнью. Скажите... что она в последние часы говорила вам? Говорила ли она что-нибудь о своей жизни? О чем она думала? Только вы один можете знать. Что она говорила о своей прожитой жизни? Я ее не видел в последние годы. Я ее не видел...

Георгий Лаврентьевич проговорил последние слова затухающим голосом, потирая прямой ладонью переносицу; он слегка покачивался в кресле, как в дремоте. И было непонятно, успокаивает ли он себя или страдает оттого, что не видел мать перед ее смертью, или так странно думает вслух, и, все больше испытывая неудобство, Никита сказал:

— Нет, она ничего не говорила.

Георгий Лаврентьевич широко открыл глаза — в их прозрачной голубизне скользнул короткий испуг, какой бывает у человека, разбуженного резким толчком, — и стремительно наклонился к столу, точно падал.

— Моя сестра, моя сестра... — пробормотал он.

Откинув голову, он затих на секунду с жалким, удивленным лицом и, сейчас же легонько вздохнув не на полную грудь, ощупью выдвинул ящик стола, достал коробочку с валидолом.

— Вам плохо? — спросил Никита и привстал. — Может быть... воды?

Сделав неопределенный жест, Греков стиснул в кулаке коробочку с валидолом, долго сидел неподвижно, как будто ждал, когда отпустит боль.

— Ничего... Это звонки, — успокаивающим шепотом сказал он. — Звонки. Возраст. Не беспокойтесь. Ничего, ничего. Она... в этом письме... — после молчания заговорил он уже несколько громче, — просит меня, чтобы я посодействовал вашему переводу. Из Ленинграда. В Московский университет. Вы этого хотели? Я постараюсь это сделать. Незамедлительно.

Никита задвигался на теплом краешке кожаного кресла, ничего не понимая, машинально полез за сигаретой.

— То есть как? — спросил он. — Зачем же?

— Что вы? — Греков перевел дыхание и, заметив сигарету в пальцах Никиты, умоляющим взглядом попросил не курить. Никита тоже невольно покосился на сигарету, смял ее, сунул в карман.

— Вы сказали: «Зачем?» — проговорил Георгий Лаврентьевич. — Позвольте... Вера также просит, чтобы я помог вам обменять ленинградскую квартиру на московскую. Я помогу вам, хотя это нелегко... Но я все, что смогу...

— Но я не хотел, это не так, — ответил Никита неловко, пытаясь понять, почему мать в этом предсмертном письме просила о его переводе в Москву. — Мать сказала мне в больнице, что я должен буду поехать к вам. Когда передавала письмо, она только об этом просила.

Он замолчал. Греков наблюдал за Никитой с горьким ощупывающим выражением.

— Ваша мать была известной ученой... И в Ленинграде у вас, должно быть, большая квартира.

— У нас не было большой квартиры, — возразил Никита. — А две комнаты в общей... Нам с матерью не было тесно. Потом, когда мать положили в больницу, я сдал комнаты полковнику. Соседу, у него четверо детей... А сам только приходил ночевать. После смерти матери я попросил койку в общежитии. В университете. Мне обещали.

— Но для чего, для чего вы сдали свои комнаты?

— Мне нужны были деньги.

Греков вдруг спросил суховато:

— Что? Разве вы не получали стипендии?

— Получал. Но мать полгода лежала в больнице, — сказал Никита и, сказав это, увидел заалевшие, как от внутреннего жара, щеки Георгия Лаврентьевича. — И я хотел, чтобы... Разве вы не знаете, для чего нужны деньги, когда кто-нибудь болеет?

Георгий Лаврентьевич молчал, пристально смотрел в стол, сутулясь; его белые нависшие брови двигались, он будто прислушивался к своему дыханию. Это прислушивающееся, углубленно-растерянное выражение удивило Никиту, и удивил его голос, ослабленный, разбитый:

— Скажите, Вера... моя сестра говорила что-нибудь перед смертью о своей молодости? Она мучилась, жалела о чем-нибудь?

— Нет, — сказал Никита. — Я не знаю.

— И у нее были слабости, — безжизненным голосом сказал Греков и утвердительно прикрыл глаза. — И у нее...

На письменном столе опять зазвонил телефон. Греков вздрогнул, потом невнимательно поднял и опустил кончиками пальцев трубку; телефон снова затрещал требовательным звонком, отдаваясь в ушах.

В дверь постучали, и голос Ольги Сергеевны:

— Георгий, можно? К тебе пришли из комитета. И звонят из газеты.

Греков выпрямился в кресле и почти неприязненно повернулся к двери. Затем в руках его мелькнуло, зашуршало письмо матери, взятое со стола; колыхая широкими рукавами халата, он как-то чересчур суетливо засунул письмо под бумагу, выскочил из-за стола и своей нервной танцующей походкой подбежал к двери, отдернул портьеру.

— Оленька! — решительным и вместе умоляющим тоном крикнул он в приоткрытую дверь. — Из комитета в два, в два часа, я предупредил! Я занят. Кто там? Пискарев? Пусть подождет! И прошу, пожалуйста, или выключить телефон, или всем говорить, что я болен. Неужели нельзя меня избавить от телефонных разговоров по утрам? Опять консультация? Я не стол справок. Есть другие специалисты, наконец!

— Ты должен принять Пискарева, — с вежливой настойчивостью ответила Ольга Сергеевна. — Ты должен и обещал. Ты забыл? И подойди, пожалуйста, к телефону.

— Я никому ничего не должен, это немыслимо! — Греков в отчаянии даже прижал щепотки пальцев к вискам. — Скажи, что у меня стенокардия, что я болен...

И ровный, спокойный голос Ольги Сергеевны:

— Подойди, пожалуйста, к телефону. Это неудобно все-таки, Георгий.

Дверь кабинета захлопнулась. Греков задернул портьеру, сердито и вроде бы беспомощно обернулся к молчавшему Никите, и тут же в каком-то нарочитом негодовании стремительно подошел к телефону (замелькали

белые щиколотки под халатом), и, фыркая носом, сдернул трубку, крикнул звонким фальцетом:

— Скажите, милейший, могу я спокойно поболеть или уж, позвольте... Кто? Не имел чести! Да-с, мой день рождения на носу, а вам, собственно, что?

«Он больной человек, со странностями, — вслушиваясь в то, как с веселым бешенством кричал Греков по телефону, думал Никита с терпеливым ожиданием, водя ладонью по кожаному подлокотнику. — Сколько ему лет? И сколько Ольге Сергеевне?»

— Что вы там написали юбилейное про меня, я не знаю! Нельзя, молодой человек, говорить «нет», когда не знаешь, чем подтвердить свое «да». Именно! Привезите гранки статьи, и я завизирую. А может быть, и нет. Я должен прочитать, что же вы написали! Я терпеть не могу фантазии корреспондентов! Да-да! Так... Так на чем же мы остановились?

— Что? — Никита поднял голову.

— Да. Так. На чем же мы?..

Греков уже не разговаривал по телефону, но он еще не отпускал трубку, поглаживая ее, а из прозрачной голубизны глаз уходила весело-мстительная, как у злорадного ребенка, улыбка, с которой он отчитывал кого-то по телефону. И теперь растрепанные кустики седых бровей напоздали на высокий лоб лохматыми уголками, и весь вид его выказывал сосредоточенное изумление перед чем-то, что в эту секунду мысленно видел он.

Профессор рассеянно смотрел на Никиту пустым взором, как бы мимо него. С этим же отсутствующим выражением, словно ничего не видя, он сделал несколько шагов от стола к нише меж книжных шкафов, медлительно вынул из кармана халата ключик. Вложив его в замочное отверстие маленького, вмонтированного в нишу домашнего сейфа, он так же медлительно открыл дверцу. И после этого спросил расслабленным голосом:

— Скажите... Вам, вероятно, нужны деньги? Вы, кажется, сказали, что вам нужны деньги на расходы? В вашем возрасте всегда нужны деньги.

— Я не просил, — отказался Никита. — У меня есть.

— Да, об этом мы не говорили с вами, — вспоминая перебил Греков, и круглое, выбритое лицо его дрогнуло, как от беззвучного смеха. — Конечно. Странно... Это рефлекс. Когда я вижу молодые, именно молодые, так сказать, лица родных и своих аспирантов, я открываю этот сейф. К сожалению, деньги, как и слава, приходят к человеку слишком поздно, когда все радости бытия, которые дают деньги, становятся лишь прошлым... Лишь воспоминанием. Как они нужны мне были когда-то, лет сорок назад! Как нужны!.. Был бедным и к тому же без ума влюбленным в какие-то русые косички студентом. Теперь даже не помню, какой цвет глаз был у этих косичек. А она была подругой Веры. И Вера была тогда красавицей. И вдруг это письмо...

Никита увидел, как письмо, вынудое Грековым из-под бумаг, замелькало в его пальцах, он рассматривал, тербил его, точно не знал, что с ним делать. Потом, затоптавшись, наклонился к открытому сейфу, положил туда конверт и никак не мог закрыть замок, поворачивал ключик вправо и влево, нелепо оттопыривая локти; белые, по-стариковски аккуратно выбритые щеки его дрожали.

— Идите, идите, я умоляю... я все сделаю, я все, что смогу, сделаю, — заговорил Греков и, весь сразу обмякший, дошел до стола, упал обессиленно в кресло, закрыв глаза, жалко закивал Никите. — Мы еще поговорим. Мы еще, конечно, поговорим. Простите, я устал. Я чрезвычайно устал сегодня.

Никита неуверенно поднялся и, зажимая в потных пальцах сигарету, которую все время разговора мял в кармане, пошел к двери. В дверях он задержался, запутался в портьере, обдавшей его сухим горьким запахом.

Он отдернул портьеру и вышел.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу вы можете почитать в
Оренбургской областной универсальной
научной библиотеке им. Н.К. Крупской
по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20
тел.: для справок: (3532) 77-92-66